

Посвящается Умберто дель Ольмо

Аулия

...а из известных миру целебных вод лучшими, как говорят, являются воды источника Джиневеры. Шести капель этой воды, нанесенных на грудь, достаточно, чтобы возрадовался пребывающий в великой тоске. И всего лишь две капли — по одной в каждый глаз — способны даровать страждущему от бессонницы полный волшебных и счастливых видений сон.

Хассан Бадреддин. *Путеводитель по городам чудес*

— Нет, нет, рано еще... — пробормотала на своей лежанке девочка, разбуженная утренними звуками: родители уже встали и разводили в очаге огонь. И, не в силах разлепить веки, с головой забралась под одеяло. Но и там настиг ее суровый голос отца.

— Аулия, пора. Вставай!

В доме пахло хлебом и мятным чаем. Единственным источником света служил красный огонь, озарявший лицо Лейлы, матери Аулии.

Девочка потеряла виски. Ей снилось что-то хорошее. Хотелось закрыть глаза и тут же вернуться в сновидение, где она чувствовала себя совершенно счастливой — хотя потом, проснувшись, не могла припомнить отчего. Сонная и угрюмая, она завернулась в одеяло

и села. Мать подошла к ней с горячим чаем. Аулия приняла из ее рук простую глиняную чашку и, держа в ладонях, отпила глоток. Потом встала налить еще, потом еще раз — ведь, прежде чем что-то съесть или заговорить, надо выпить три чашки. Она подогрела на жаровне одну пшеничную лепешку, а другую положила в котомку. Нехотя прожевала и проглотила пресный хлеб и, припадая на одну ногу и опираясь на посох, вышла за порог. От предрассветного холодка кожа сразу покрылась мурашками. Девочка опустилась на колени, развернувшись на *киблу* — к востоку, а потом медленными движениями, будто умываясь, обтерла руки и голову, как принято в пустыне у правоверных. Прижалась лбом к холодному, как лед, песку и принялась молиться.

Затем встала и, плотнее запахнув халат, направилась в загон для скота — доить коз. Похлопала скотинку по теплым бокам, чтобы та помочилась, и обмыла руки под остро пахнущей горячей струей. И уже чистыми пальцами взялась за козьи соски, твердые со сна.

— Рассвет еще не скоро, — прошептала она, глянув на белые точки звезд меж тонких веточек тамариска.

Молоко стекало в лоханку, пена ползла через край. Девочка наполнила бурдюк, вошла в хижину, молча отдала бурдюк матери и погнала из загона свое маленькое стадо. Петухи еще спали.

Аулия хромала. Левая ее нога была короче правой, заканчиваясь неподвижной, словно чужой ее телу ступней. Годилась эта крохотная, почти младенческая ступня мало на что: умела чуть-чуть шевелить

пальцами и могла позволить слегка на себя опереться. А вот руки у нее, наоборот, были большие — «мужские», как говорила Лейла: крепкие, загрубевшие от посоха; это были руки, ловко умеющие стричь овец, прясть пряжу, бить в барабан.

На свет девочка появилась в результате затяжных и мучительных родов, вышла ногами вперед. Повитуха, глядя в лицо роженицы, думала: «Ну, эта-то непременно помрет...»

Лейла мучилась уже больше двадцати часов, и все без толку. Губы тонкой ниткой обвели зубы, бледные щеки провалились, волосы взмокли от пота, а взгляд вылезаящих из орбит глаз стекленел и косил куда-то вбок. Тяжело дыша, она изредка спрашивала:

— Он уже виден? Ради Аллаха, я умираю! — пока совсем не потеряла способность говорить и в груди ее не остались одни только глухие хрипы.

Повитуха смазала себе жиром руки — до самого локтя, чтобы хорошо скользили. А потом влезла обеими руками во чрево роженицы, схватила младенца за тоненькие лодыжки и изо всех сил дернула. В темной хижине, наполненной дымом и ядреным запахом пота и крови, раздался жуткий крик Лейлы. Она вопила, она орала, даром что слыла молчальницей, да и перед родами ее щедро опоили снотворным соком мака и дали пожевать кусочек *банджа* — опиума.

Женщины, что толклись возле роженицы и натирали ее живот растительным маслом, почувствовали, что внутри живота, прямо под их ладонями, что-то оборвалось — и на свет божий, покинув истерзанное

тело матери, наконец-то выскользнул младенец вместе с потоком крови.

Измотанная повитуха приняла девочку: та оказалась совсем крошкой — куда меньше по размеру, чем все новорожденные, которых ей доводилось принимать. На малюсеньком личике, покрытом кровью и слизью, сверкали два огромных глаза, внимательно изучавшие повивальную бабку. При своем появлении на свет Аулия не плакала.

Лейла истекала кровью еще несколько часов. Получив вознаграждение — две козьи шкуры, обычную в нищей деревне плату, — повитуха сухо и коротко сообщила испуганному папаше, что жена его никогда больше не сможет иметь детей.

Даже на пороге смерти, терпя невыносимые страдания, мать не позволила унести младенца в дюны. А когда ей достало сил вымолвить слово, она попросила не воды и не еды, а показать ей дочку. К ней поднесли крохотный сверток, и Лейла, ни слова не говоря, обняла младенца. Крохотная младенческая ручка ухватилась за прядь материнских волос. Лейла прижала дочку к груди, и обе они мирно уснули и проспали вместе всю ночь и весь следующий день. Люди в деревне верили, что отказать в последнем желании умирающему — значит накликать на себя беду, поэтому родственники решили просто дожидаться, когда обе они умрут. Муж Лейлы Юша, сын Нуна, забросил все свои дела: и коз, и пшеничное поле, ведь жена истекала кровью. И Юша, любя жену, не отходил от нее.

Девочка родилась такой слабенькой, что тельце ее с большим трудом удерживало чай пополам с козьим молоком, которым ее пытались кормить.

Однако, ко всеобщему удивлению, обе они — и мать, и дочь — выжили.

Лейла оправлялась от родов восемь месяцев. Когда же она смогла вернуться к домашним обязанностям и начала ухаживать за ребенком — увидела наконец то, что всем остальным давно уже было ясно: у ее девочки — увечная ножка. И еще ребенок был слишком маленьким: эдакий тихий кутенок, никогда не плачет — ни дать ни взять крохотная пустынная мышка. Женщины, ходившие за Лейлой, уверяли, что, когда им случалось подойти к больной ночью, девочка, не сводя с них глаз, следила за каждым движением. «Она вроде как видит в темноте», — шушукались они между собой.

Старики, муж Лейлы да и кое-кто из женщин спрашивали:

— *Гей!* На что нам эта хромоножка?

Лейла только пожимала плечами и спокойно отвечала:

— На что-нибудь да сгодится...

Малютка стала счастьем Лейлы. После родов, в те редкие минуты, когда она приходила в сознание и, разглядывая крохотное личико, видела в нем собственные уменьшенные черты, ее захлестывала неведомая прежде радость — даже в страданиях, даже в жару и в поту.

Лейла всегда была женщиной немногословной. Юшу она приняла с той же молчаливой решимостью,

с какой приняла бы и судьбу старой девы. Она была уже немолода — почти тридцати лет, — когда обнаружила, что беременна. Ее счастье было скрыто от чужих глаз, будто внутри скорлупы, как и все другие жизненные проявления этой женщины: один только Юша умел разглядеть радость в степенной улыбке жены, трудившейся за ткацким станком.

Прослав молчальницей даже среди тех, кто и сам считал разговоры пустой тратой времени, она вдруг стала замечать, что напряженно вслушивается в дочкино воркование и без усталости повторяет ей названия всего, что есть вокруг, чтобы девочка училась говорить.

Косточки в тельце Аулии были легкими, как у птички. И хотя ей исполнилось уже восемь месяцев, росточком она была с новорожденного. Мать винила в этом себя: «Она такая маленькая оттого, что у меня нет для нее молока, для бедной моей малютки», — ворочались в ее голове тяжелые мысли. Ни на мгновение не отпустила она от себя ребенка. Заворачивала крошку в платок, привязывая этот сверток себе на спину, или брала ее на колени и прижимала к себе рукой. Девочка, вцепившись в материну рубаху одной ручонкой и засунув большой палец другой ручки в рот, смотрела на нее широко распахнутыми глазами.

— Маленькая ты моя, ангелочек мой... — шептала Лейла, накрывая ладонью хрупкую головку, покрытую легким черным пушком. Сквозь младенческую кожу просвечивали голубые венки. Аулия улыбалась матери, вынимала палец изо рта и склоняла головку на материнскую грудь.

— Аулия, скажи «вода»... — просила Лейла. Малютка, стараясь произнести слово и глядя маме прямо в глаза, шевелила губками, меж которыми виднелись первые, едва прорезавшиеся, зубки. Так продолжалось очень долго, пока в один прекрасный день кроха не огорошила свою маму — тоненьким голоском, четко выговаривая каждый слог, она сказала:

— Мама, я хочу пить.

Лейла, испуганная и счастливая, дала ей воды.

Говорить девочка начала, когда ей не исполнилось и годика; и вот уже возле хижины ее родителей собирались женщины, желающие послушать, как медленно и четко произносит малышка священные слова суры Фатиха.

— Единственный и великий одарил ее немалым разумом, — говорила Лейла собравшимся женщинам. — Смотрите, с каким благочестием она молится! — И женщины кивали в изумлении и тревоге.

Оставшись с дочкой наедине, Лейла бродила по хижине, показывала и называла ей разные вещи, рассказывала, для чего они нужны. Аулия тонким голоском повторяла за ней слова и широко распахивала глаза, удивляясь тому, что в бурдюке хранится вода, что в жаровне живет огонь и что мед такой сладкий. И Лейле казалось, будто она и сама впервые видит и называет по именам все эти вещи.

Когда же девочка начала ползать, ее родители с грустью заметили, что увечную ножку она волочит за собой и та оставляет в пыли длинный след.

Пытаясь встать на ножки, она неизменно падала, но никогда не плакала — ни единой жалобы никто от нее не слышал. Учить ее ходить оказалось делом нескорым и нелегким. Юша срезал с фигового дерева ветку, чтобы девочка могла на нее опираться. Пока другие дети играли, Аулия, покачиваясь и пыхтя от натуги, ковыляла к своей цели — распахнутым материнским рукам. Годами жители деревни наблюдали, как Лейла, направляясь к колодцу за водой или в поле, несет дочку на себе, а у ткацкого станка всегда берет ее на колени. Однако же наступил день, когда Аулия наконец, опираясь на посох, пошла самостоятельно.

Однажды утром, закончив молоть пшеницу, девочка спросила:

— Мама, можно мне пойти к детям?

Лейла, немало удивившись, подняла голову. Смахнула пот со лба, увидела горящее надеждой личико дочери, ее неуверенную улыбку. И, сглотнув внезапно вставший в горле комок, ответила:

— Иди, конечно же, иди, Аулия.

С печалью на лице, бессильно уронив руки, она смотрела, как под белым полуденным солнцем дочка идет прочь от их дома.

Дети играли возле деревенского колодца, забавляясь с козочкой. На шею ей они привязали веревку с бубенчиками. Бубенчики звенели — козочка от страха бегала кругами, все быстрее и быстрее, вздымая клубы пыли. Аулия подошла ближе, и козочка устремилась к ней, вытягивая длинную морду к руке девочки.

— Не трогай ее, хромоножка. Иди отсюда, — услышала она.

Аулия отпрянула, испугавшись угрожающего тона мальчика. Тарик, высоченный сын Самета, подошел к ней, уперев руки в боки. Аулия услышала за спиной смешок. Он тоже его уловил. И, расхрабрившись, швырнул горсть дорожной пыли в лицо Аулии.

— Убирайся! И больше никогда не приходи.

И они побежали догонять козочку, удиравшую от них с жалобным блеянием.

Лейла нашла дочку на берегу речки: та захлебывалась от слез. Худенькие плечики тряслись от рыданий.

— Они... они не хотят со мной играть, мама, — еле смогла выговорить девочка, — не хотят меня, потому что я хожу не так, как они...

Лейлу охватил огонь ненависти. Взяв дочку на руки, она понесла ее домой. С этого дня мать и дочь стали неразлучны. Не в силах Лейлы было заставить деревню принять ее дочь, поэтому ей самой пришлось стать для нее товарищем по играм. Мать до глубины души трогали усердие, с которым девочка молилась, и точность, с которой она старалась выполнять поручения, — а ведь ей приходилось совершать героические усилия даже для того, чтобы просто ходить.

С самого рождения ребенка разговоры Лейлы с другими женщинами перемежались умолчаниями и скрытыми угрозами. Об этом никогда не говорилось прямо, но разного рода намеков, недомолвок, обид и страхов хватало: вся деревня перебивается кое-как, чтобы

только выжить, а тут еще хромоножка — дурной знак, и виной всему слабость Юши и молчаливое упрямство Лейлы.

Изгнанная из деревенского общества из-за дочки-ной хромоты, Лейла полностью посвятила себя ребенку. Детские речи наполняли жизнь матери радостью, хотя кое-что в них ее пугало: Аулия с малолетства сообщала Лейле, когда пойдет дождь и каким он будет, сильным или слабым, — и не прибегала при этом ни к каким известным ритуалам.

Но в деревне уже был заклинатель дождя — Али бен-Диреме.

От отца, который, в свою очередь, получил их от своего отца, человек этот унаследовал все обряды целого искусства: ритуальные танцы, омовения, пение. Вот только Али бен-Диреме плоховато умел заклинать дождь.

Во времена *джахилии*, то есть первобытного беззакония, заклинатель дождя в пустыне был человеком уважаемым и востребованным. После бури света, ознаменовавшей послание архангела, слово Пророка стало огнем, испепеляющим бессмысленные обряды и жертвоприношения. И почти весь Магриб сменил ритуальные танцы на молитвы. Но в этом затерянном среди песков пустыни селении Книга и моления спокойно уживались с древними предрассудками бедуинов, такими как заклинание дождя.

Али бен-Диреме был предан своему делу и ревностно исполнял все обряды, но ему еще ни разу не удалось вызвать на землю ни единой дождинки. А вот Аулии

достаточно было налить несколько капель воды себе в ладошку и пристально посмотреть на небо. После чего она с неколебимой уверенностью объявляла, сколько месяцев осталось до дождя и долго ли он будет идти.

Одним взглядом она могла определить, сколько жидкости содержится в травинке, в кожаном бурдюке или в закрытом кувшине. И каждый раз отец с ужасом взирал на нее, выставляя вперед правый кулак с двумя распрямленными пальцами, указательным и мизинцем, — чтобы отпугнуть демонов, а мать бросалась теревить мочки ее ушей, изгоняя оттуда голоса, нашептавшие дочке известия о воде. Малютка пугалась и начинала плакать, хоть и недолго, потому что вскоре возвращалась к своим играм: к глиняной козочке, стеклянным бусинам и песенкам — как и любой другой ребенок.

Лейла решила никому об этом не рассказывать и строго-настрого запретила Аулии беседовать о дожде с чужими людьми. Она, конечно, и мысли не допускала, что в девочку вселилось зло, — нет: для Лейлы дочерины таланты, как и хромота, были особенностями ее ребенка.

Но она боялась усилить неприятие и отторжение, и без того явственные: деревенские не хотели считать хромоножку своей, такой же, как они сами; а еще их пугало, что дочка Юши и Лейлы разговаривает со всем как взрослая.

Взять в жены другую женщину отец малышки не мог, потому что в деревне жили потомки *туарегов* — или, по-другому, *имошагов*, — владевших пустыней,